СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ

# КНИГА БЕЗ ФОТОГРАФИЙ

РОМАН

РЕДАКЦИЯ ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ

Проза Сергея Шаргунова

Сергей Шаргунов

# Книга без фотографий

«Издательство АСТ»
2011

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Шаргунов С. А.**

Книга без фотографий / С. А. Шаргунов — «Издательство АСТ», 2011 — (Проза Сергея Шаргунова)

ISBN 978-5-17-155705-8

«Книгу без фотографий» известный прозаик, главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов написал в тридцать лет. «Ранний мемуар. Жизнь сына священника, родившегося на советском закате, подростка и юноши девяностых и нулевых, совсем нетипичная, а в чем-то неотделимая от происходившего тогда, от страстей, надежд и заблуждений времени». Роман выдержал несколько переизданий, вышел на английском, французском и сербском языках.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-155705-8

© Шаргунов С. А., 2011
© Издательство АСТ, 2011

# Содержание

От рассказчика 6
Тайный альбом 7
Мое советское детство 8
Как я был алтарником 12
Школы 17
Конец ознакомительного фрагмента. 26

# Сергей Александрович Шаргунов
# Книга без фотографий
## *Роман*

* * *

© Шаргунов С. А.
© ООО «Издательство АСТ»

# От рассказчика

Эта книга написана в 2010-м, тридцатилетним. Путешествие по призрачным отражениям… Ранний мемуар.

Зачем? Разобраться в себе, понять время, угадать будущее.

Жизнь сына священника, родившегося на советском закате, подростка и юноши девяностых и нулевых, совсем нетипичная, а в чем-то неотделимая от происходившего тогда, от страстей, надежд и заблуждений времени.

Опустошенный альбом. Кошка, прыгнув на бумажный снимок, выбила лапой половину класса, рыжебородый автоматчик в чеченских предгорьях забрал флешку из фотоаппарата, кто-то свистнул мобильник в придорожном северном кабаке, но всё как будто бы осталось в памяти.

Как будто бы.

Память сродни литературе – неверная капризная рассказчица, искажающая реальность.

С тех пор прошла целая жизнь, и всё же ничего не хочется исправлять и дописывать – еже писах, писах – хотя случилось ещё немало крутых поворотов.

Это книга предчувствий, счастливых и трагических, сбывшихся и сбывающихся, по которой, наверное, можно гадать о судьбе: своей и не только.

Книга живет дальше, за пределами корешка, и, с тревогой вглядываясь в будущее, остается верить в литературу, а значит, и в то, что впереди – письменное продолжение.

*С.Ш.*

# Тайный альбом

Фотографии не оставляют человека. Всю жизнь и после смерти. Кладбище – фотоальбом. Множество лиц, как правило, торжественных и приветливых. Едва ли в момент, когда срабатывала вспышка, люди думали о том, куда пойдут их снимки. А эти улыбки! Фамилия, годы жизни и спокойное, верящее в бессмертие лицо. Вокруг жужжание мух, растения, другие лица, тоже не знающие, что они – маски, за которыми бесчинствует распад.

Как-то, идя широким московским кладбищем, я встретил соседа по лестничной площадке. Почувствовав на себе взгляд, повернул голову влево и столкнулся глаза в глаза с Иваном Фроловичем Соковым из 110-й квартиры. Праздничный, в генеральской форме. Фотография красовалась на черном, отполированном мраморе: солнце отражалось, слепя. «Вот мы и встретились опять, – подумал я. – Случайная встреча – всё равно что в толпе, где-нибудь в метро…»

Но и до рождения нас фотографируют.

Вспоминаю: Аня пришла от врачей с большим пластиковым листом, на котором замерли диковинные светотени.

– Это он! – воскликнула она.

Это был наш сын, внутриутробный плод, будущий Ванечка.

Жизнь моя начиналась, когда фотография ценилась высоко. Отдельные чародеи-любители в комнатах без света проявляли пленку, что вызывало у детей зависть и благоговение. Первые лет семь жизни я снят только черно-белым. Потом шли уже цветные фото, хотя и бумажные. После двадцати пяти – почти все электронные, в изрядном количестве.

Я верю в тайну фотографии, еще не разгаданную.

Космические снимки позволяют видеть внутренние слои земли. По фотографии человека можно определить его недуг. Над фотографиями колдуют: привораживают и наводят порчу. Едва ли с частым успехом, но есть злая забава, укорененная в народе: поганить вражью фотку. Теперь, вероятно, это колдовство облегчают возможности фотошопа.

Одна тетка, в сельмаге торгующая, простодушно поделилась:

– У меня моих карточек целая куча. В ночь на воскресенье сяду у плиты, разглаживаю их, все глажу и глажу, и в огонь бросаю. А чтоб молодеть! Чтоб морщинки мои уходили… – Она кокетливо засмеялась.

Фотографий нынче лавина, как и видеороликов, мир ими заполнен, мир помешан на съемке. Но тревожиться о снимках старомодно. Они слишком легко возникают и утратили цену. Пожалуй, фотографии остались в двадцатом веке, и все больше становятся мусором…

Фотографий у меня мало. Не собираю и не храню. А это и неважно. То и дело я возвращаюсь к событиям и людям, фотографически отпечатавшимся в мозгу. И книга эта, наверное, еще продолжится.

Иногда мне кажется, что все мои фотографии, утраченные, отсутствующие и несбывшиеся, где-то хранятся. Когда-нибудь их предъявят.

Может быть, когда выхода уже не будет (на ближайшей войне или в старческой постели), я увижу этот альбом своей жизни, торопливо и безжалостно пролистываемый.

И вот тогда пойму какую-то главную тайну, изумленно ахну и облегченно ослепну в смерть.

# Мое советское детство

Осень 93-го. Я убежал из дома на баррикады. Здесь – бедняки и не только, и единственный лозунг, который подхватывают все с готовностью: «Советский Союз!»

Я стою на площади у большого белого здания, словно бы слепленного из пара и дыма, и вокруг – в мороси и дыму – переминается Русь Уходящая. Любовь и боль доверчивых лиц, резкие взмахи рук, размытые плакатики. Горячий свет поражения исходит от красных флагов.

– Сааавейский Сааюз!.. – катится крик, волна за волной.

– Сааавейский Сааюз!.. – отчаянно и яро хрипит, поет, стенает и стонет вся площадь.

Рядом со мной старушка. Ветхая и зябкая, она не скандирует, а протяжно скулит имя своей Родины…

С далекого балкона нам обещают скорый приход сюда – в туман и дым – верных присяге воинских частей…

В детстве я не любил Советский Союз, не мог любить, так был воспитан.

Но в тринадцать лет, когда Союз уже погиб, я, следуя порыву, прибежал на площадь отверженных, которые, крича что есть силы, вызывали дух его…

…Читать я научился раньше, чем писать. Брал душистые книги с тканными обложками без заглавий, в домашних, доморощенных переплетах. Открывал, видел загадочно-мутные черно-белые картинки, перерисовывал буквы. Бывало, буква изгибалась, как огонек свечи: плохой ксерокс. Книги влекли своей запретностью. Жития святых, убитых большевиками, собранные в Америке монахиней Таисией. Так постепенно я стал читать.

Мне было четыре года, мама позвала ужинать. Папа с нашим гостем, рыжебородым дядей Сашей, шли на кухню по узкому коридору, я следом.

– Нужно будет забрать книги… – бубнил гость, и вдруг они остановились как вкопанные, потому что отец резко схватил его за локоть.

– Книги? – спросил он каменным голосом. – Какие книги?

Секунда, обмен взглядами. Дядя Саша оторвался от пола и в легком прыжке пальцами коснулся низкого коридорного потолка. И выпалил:

– Детские! – с радостью и ужасом.

Затем, в странном, бесшумном танце приближаясь к кухне, они оба вытянули правые руки с указательными пальцами, возбужденно устремленными в угол подоконника, где скромно зеленел телефонный аппарат.

На пороге кухни я забежал, просочился вперед, рискуя быть растоптанным, и мне запомнились эти пальцы, пронзившие теплый сытный воздух.

Я помню сцену так, будто наблюдал ее минуту назад. Все разыгралось стремительно, но столь ярко, что я мгновенно загорелся карнавалом.

Бросившись к телефону, я сорвал трубку и, ликуя, закричал:

– Книги! Книги! Книги!

Мама уронила сковороду, папа выдрал штепсель из розетки и отвесил обжигающий шлепок, а гость, схватив меня, заплакавшего, за локоток хищным движением, наставил светлые сухие глазищи и зашелестел с присвистом из рыжей бороды:

– Ты хочешь, чтобы папу посадили? У тебя не будет папы…

Спустя какие-то годы я узнал, что отец, будучи священником, владел подпольным маленьким типографским станком, спрятанным в избе под Рязанью. Там несколько посвященных, включая гостя, печатали книги: молитвенники и жития святых (в основном – новомучеников, включая последнюю царскую семью) по образцам, присланным из города Джорданвилля, штат Нью-Йорк.

И дальше эти миссионерские книги путешествовали по России. Случись утечка, я стал бы сыном узника. Телефон – главное орудие прослушки, считали подпольщики. Он живой. Он слушает даже с трубкой, положенной на рычаг. «Книга, книги» – были те ключевые сладкие и колючие слова, которые говорить не следовало.

Мне было пять, когда в Киеве арестовали мужа знакомой нашей семьи Ирины. Она приходила к нам с дочкой Ксенией. Серенькая, пугливая, зашуганная девочка с большими серьезными глазами. Ее папу посадили за книгу. Он барабанил на печатной машинке, и якобы в прослушиваемую через телефон квартиру пришли с обыском на этот звон клавиш.

В шесть лет я тоже принялся за книгу. Не потому, что хотел отправиться за решетку, – просто запретность манила. Я нарисовал разных священников, и монахов, и архиереев, пострадавших за времена советской власти. Эту книгу с неумелыми детскими каракулями и бородатыми лицами в колпаках клобуков у меня изъяли родители. Я длинную тетрадь не хотел им отдавать, прятал в пододеяльник, но они ее нашли и унесли. С кухни долетел запах жженой бумаги. Они опасались.

Но я продолжал рисовать и писать протестные памфлеты и запретные жития. А однажды, заигравшись в страх, решил уничтожить горку только что нарисованного и исписанного – это была репетиция на случай, если в квартиру начнет ломиться обыск. Я придумал не жечь, а затопить листы. Сгреб их и уложил в игрушечную ванночку, туда же зачем-то поместил свою фотографию из времени, которого я не помню: грудного и блаженного меня окунает в купель блаженный и седовласый отец Николай Ситников. Я почему-то подумал, что этот снимок тоже улика. Сложив листы и снимок, я залил их водой, краска расплылась, и вскоре запретное стало цветной бумажной кашей. Родители заметили пропажу фотографии, но что с ней стало, так и не узнали.

А потом, словно в остросюжетном «Кортике» Рыбакова (я исполнял роль мальчика-бяки, сына контрреволюционного попа), к нам в квартиру вселились останки последней царской фамилии. Расстрелянных отрыл среди уральских болот один литератор и часть схоронил у священника.

Пуговицы, ткани, брошь, черепа и кости – всё это впитывали детские глаза, но детские уста были на замке. Мир еще ничего не знал об этой находке. Не знал СССР. Москва. Фрунзенская набережная. Двор. Не знал сосед Ванька.

Вот так я провел свое советское детство – в одной квартире с царской семьей.

(Парадокс: моя бабушка Валерия, мамина мама, училась в Екатеринбурге в одном классе гимназии с дочкой Юровского, расстрелявшего царя.)

Через год после того, как останки у нас появились, к нам (и сейчас помню, в сильный дождь) пришла Жанна, француженка-дипломат, розовое простое крестьянское лицо. Католичка, она обожала православие. Иностранцам нельзя было покидать Москву, но она, повязав платочек, выезжала поутру на электричке в Загорск, стояла всю литургию в Троицкой лавре и возвращалась обратно. Может быть, чекисты снисходительно относились к набожной иностранке.

Она подарила мне кулек леденцов, от чая отказалась и направилась прямиком в кабинет к отцу. И они завозились там. Послышалось как бы стрекотание безумного кузнечика. Не вытерпев, я приоткрыл дверь и вошел на цыпочках. Жанна все время меняла позы. Она вертелась вокруг стола. Один глаз ее был зажмурен, а у другого глаза она держала большой черный фотоаппарат, выплевывавший со стрекотом голубоватые вспышки. Стол был накрыт красной пасхальной скатертью, поверх которой на ровном расстоянии друг от друга лежали кости и черепа, мне уже знакомые.

Я приблизился. Отец почему-то в черном подряснике стоял у иконостаса над выдвинутым ящичком, где ждали своего череда быть выложенными на стол горка медных пуговиц, крупная в камешках брошь, два серебряных браслета и зеленоватые лоскуты.

Увидев меня, он беззвучно замахал рукой, прогоняя. Рукав его подрясника развевался, как крыло.

В то же время мой дядя делал карьеру в системе. Дядя приезжал к нам раз в полгода из Свердловска, где работал в обкоме.

Дядя был эталонным советским человеком. Гагарин-стайл. Загляденье. Подтянутый, бодрый, приветливый, с лицом, всегда готовым к улыбке. Улыбка мужественная и широкая. На голове темный чуб, на щеках ямочки, в глазах шампанский блеск. У него был красивый оптимистичный голос. Дядя Гена помнил наизусть всю советскую эстраду и мог удачно ее напевать. Когда он приезжал, то распространял запах одеколона, они с отцом пропускали несколько рюмашек, дядя облачался в махровый красный халат, затемно вставал, делал полчаса гимнастику, брился и фыркал под водой и уходил в костюме, собранный и элегантный, на весь день по чиновным делам.

Но как-то он приехал без улыбок. Сбросил пальто на диван в прихожей. Тапки не надел, прошлепал в носках. Сел на кухне бочком, зажатый. Даже мне не привез гостинца, а раньше дарил весомую кедровую шишку с вкусными орешками.

– Брат, ты меня убил… – Голос дяди дрогнул и стал пугающе нежным. – Ты сломал мой карьерный рост. Я не мог об этом говорить по телефону. Теперь победил Стручков. А у меня все шло как по маслу. Ельцин меня вызвал. Говорит: «Это твой брат священник? Это как так? Как?» И ногами на меня затопал.

Дядя схватил рюмку, повертел, глянул внутрь, нервно спросил, словно о самом главном:

– Чего не разливаешь?

– Кто такой Ельцин? – спросил папа.

– Мой начальник, ты забыл? – Дядя шумно втянул воздух, откупорил бутылку, наполнил рюмку. – Тебе моя жизнь по барабану? Он, знаешь, скольких живьем ел? Воропаев у нас был. Птухина до инфаркта допилил. Ельцин – это глыба! О нем ты еще услышишь! Он не посмотрит… Ты ему палец в рот… Он Козлова Петра Никаноровича в день рождения заколол. Поздравил увольнением, а, каково? – Не договорив, дядя с решимостью суицидника опрокинул рюмку полностью в себя, тотчас вскочил и заходил по кухне.

Заговорила мама, рассудительно:

– Геннадий, садитесь, ну что вы так переживаете. А вам не кажется, что все это как-то несерьезно в масштабе жизни: Козлов, Птухин, кого вы еще называли? Сучков, да? Елькин…

– Не Елькин, а Ельцин! Не Сучков, а Стручков! – Дядя топнул носком по линолеуму. – Это аппарат! Это власть! Это судьба ваша и моя, и всех! Зачем ты попом стал? Ни себе, ни людям… И сам сохнешь, и родне жизни нет!

Потом я сидел в другой комнате и слышал доносившиеся раскаты кухонной разборки.

Итак, я с самых ранних лет знал, что мало с кем можно говорить откровенно.

Был такой священник, которого мои родители подозревали в том, что он агент КГБ. И говорили: «Прости, Господи, если мы зря грешим на невинного человека!» Он с настойчивой частотой приходил к папе, и, когда он приходил, мне говорили «Цыц!». Его звали отец Терентий. Он источал аромат ладана. Я брал у него благословение, вдыхал душистое тепло мягких рук, но лишнего с ним ни гугу. Был он с длинными черно-седыми волосами и лисьим выражением лица. Все время кротко опускал веки. И еще у него был хронический насморк. Он утирался платком. От этого насморка у него был загнанно-мокрый голос.

– Отец Терентий, – говорила ему мама, провожая, – почему вы приходите больным? У нас маленький ребенок.

И в этих ее словах звучал намек на другое – с чистой ли совестью ходите вы к нам, дорогой отец Терентий?

Я слышал разговоры взрослых про заграницу. Но в своих мечтах я никогда не бывал за границей, все месил и пылил тута. Я дорожил нашей квартирой в огромном доме со шпилем

и деревянным домом на даче. Я хотел рыть окопы, ползти в траншеях, хорониться с ружьем за елью, кусая ветку и чувствуя на зубах кисло-вяжущий вечнозеленый сок. Глина и пыль дорог – такой была «визитка» желанной войны. Я был почвенник и пыльник… Да, я часами скакал на диване, поднимая столбцы пыли, как будто еду на телеге, окруженный полками, и мы продвигаемся по стране. Выстрелы, бронетехника, стрекот, белые вспышки на ночном небосклоне, раненые, но не смертельно, друзья, и какая-то русая девочка-погодок прижалась головой к командирскому сердцу. Нам по шесть лет. Крестовый поход детей. И сердца у нас работают четко, как моторчики: тук-тук-тук. И белая вспышка нас связала.

Взятие Москвы. Ветер и победа. Размашистые дни. По чертежам заново отстраиваем храм Христа Спасителя. Снаряжаем экспедицию за вывезенным в эмиграцию спасенным алтарем, снимаем сохранившиеся барельефы с Донского собора. Мой папа служит молебен на Москве-реке, кропит святой водицей тяжелые сальные городские воды, и начинается возведение огромного храма. И в то же время специальные службы приступают к очистке этой грязной реки, чтобы она воскресла, повеселела и в ней можно было спокойно купаться, как в старину.

Так я мечтал.

Теперь фантазирую иначе. Я был бы совпис. Нет, слушайте: предположим, я совпис. Советский писатель. И что?

А другие? Колхозник? Рабочий? Шахтер? Ученый? Военный? Учитель? Врач? Думаю, бывает, что каждый переносится в то время и себя воображает там.

Я враждовал с Советским Союзом все детство, не вступив в октябрята – первым за всю историю школы. И в пионеры тоже не вступил.

И все же мне жаль Родины моего детства. Я вспоминаю ощущение подлинности: зима – зима, осень – осень, лето – лето. Вспоминаю кругом атмосферу большой деревни, где скандал между незнакомцами всегда как домашний, распевность женских голосов, хрипотца мужских, и голоса звучат так беспечно и умиротворенно, что даже от ребенка это не скроется.

Осенью 93-го, хотя уже было поздно, подростком я возвращал долг Советскому Союзу. Убежал из дома, бросился на площадь.

Собравшиеся там были сырые, пар мешался с дымом. Сквозь серую пелену изредка сверкали костры, так, будто солнце жалобно просится из трясины.

На следующий день появилась газетная фотография той площади – последний митинг перед тем, как белое здание обнесут колючей проволокой. Фотография сделана с балкона. Удачная фотография, хотя черно-белая. Запрокинутые лица, сжатые кулаки, поднятые флаги… Народ кричит: «Советский Союз!»

Там, где я встал, обильный дым стелился, скрывая полсотни голов, поэтому на фотографии я не виден.

# Как я был алтарником

Я застал не только антисоветское подполье. Я застал Красную Церковь – весомую часть Советской Империи.

В четыре года на пасхальной неделе я первый раз оказался в алтаре. В храме Всех Скорбящих Радость, похожем на каменный кулич, большом и гулком, с круглым куполом и мраморными драматичными ангелочками внутри на стенах.

Через годы я восстановлю для себя картину.

Настоятелем был актер (по образованию и призванию) архиепископ Киприан. Седой, невысокий, плотный дядька Черномор. Он любил театр, ресторан и баню. Киприан был советский и светский, хотя, говорят, горячо верующий. Очаровательный тип напористого курортника. Он выходил на амвон и обличал нейтронную бомбу, которая убивает людей, но оставляет вещи. Это символ Запада. (Он даже ездил агитировать за «красных» в гости к священнику Меню и академику Шафаревичу.) На Новый год он призывал не соблюдать рождественский пост: «Пейте сладко, кушайте колбаску!» Еще он говорил о рае: «У нас есть куда пойти человеку. Райсовет! Райком! Райсобес!» Его не смущала концовка последнего слова. Папе он рассказывал про то, как пел Ворошилов на банкете в Кремле. Подошел и басом наизусть затянул сложный тропарь на перенесение мощей святителя Николая. А моя мама помнила Киприана молодым и угольно-черным. Она жила девочкой рядом и заходила сюда. «На колени! Сталин болен!» – и люди валились на каменные плиты этого большого храма. Каменные плиты, местами покрытые узорчатым железом.

Однажды Киприан подвозил нас до дома на своей «Волге».

– Муж тебе в театр ходить разрешает? А в кино? – спрашивал он у мамы.

Меня спросил, когда доехали:

– Папа строгий?

– Добрый, – пискнул я к удовольствию родителей.

– Телевизор дает смотреть?

– Да, – наврал я, хотя телевизор отсутствовал.

И вот, в свои четыре, в год смены Андропова на Черненко, на Светлой седмице я первый раз вошел в алтарь.

Стихаря, то есть облачения, для такого маленького служки не было, и я остался в рубашке и штанах с подтяжками. Архиерей обнял мою голову, наклонившись с оханьем: пена бороды, красногубый, роскошная золотая шапка с вставленными эмалевыми иконками. Расцеловав в щечки («Христос воскресе! Что надо отвечать? Не забыл? Герой!») и усадив на железный стул, поставил мне на коленки окованное старинное Евангелие. Оно было размером с мое туловище.

Потом встал рядом, согнулся, обняв за шею (рукав облачения был ласково-гладким), и просипел:

– Смотри, милый, сейчас рыбка выплывет!

Старая монахиня в черном, с большим стальным фотоаппаратом произвела еле слышный щелчок.

Я навсегда запомнил, что Киприан сказал вместо птичка – рыбка. Возможно, потому что мы находились в алтаре, а рыба – древний символ Церкви.

В отличие от папы, сосредоточенного, серьезного, отрицавшего советскую власть, остальные в алтаре выглядели раскованно. Там был дьякон Геннадий, гулкий весельчак, щекастый, в круглых маленьких очках. Сознательно безбородый («Ангелы же без бороды»). «И тросом был поднят на небо», – при мне прочитал он протяжно на весь храм, перепутав какое-то церковнославянское слово, и после хохотал над своей ошибкой, трясясь щеками и оглаживая живот под атласной тканью, и все спрашивал сам себя: «На лифте, что ли?»

В наступившие следом годы свободы его изобьют в электричке и вышибут глаз вместе со стеклышком очков…

В алтаре была та самая старуха в черном одеянии, Мария, по-доброму меня распекавшая и поившая кагором с кипятком из серебряной чашечки – напиток был того же цвета, что и обложка книжки Маяковского «У меня растут года», которую она подарила мне в честь Первого мая.

– Матушка Мария, а где моя фотография? – спросил я.

– Какая фотография?

– Ну та! С Владыкой! Где я первый раз у вас!

– Тише, тише, не шуми, громче хора орешь… В доме моем карточка. В надежном месте. Я альбом важный составляю. Владыка благословил. Всех, кто служит у нас, подшиваю: и старого, и малого…

Под конец жизни ее лишат квартиры аферисты…

С ужасом думаю: а вдруг не приютил ее ни один монастырь? Где доживала она свои дни? А что с альбомом? Выбросили на помойку?

Еще был в алтаре протоиерей Борис, будущий настоятель. Любитель борща, пирожков с потрохами (их отлично пекла его матушка). Мясистое лицо пирата с косым шрамом, поросшее жесткой шерстью. Он прикрикивал на алтарников: «У семи нянек дитя без глазу!» Он подражал архиерею в театральности. Молился, бормоча и всхлипывая, закатывая глаза к семисвечнику: руки воздеты и распахнуты ладони. Колыхалась за его спиной пурпурная завеса. Я следил затаив дыхание.

В 91-м отец Борис поддержит ГКЧП, и, когда танки покинут Москву, сразу постареет, станет сонлив и безразличен ко всему…

За порогом алтаря был еще староста, мирское лицо, назначенное властями («кагэбэшник», – шептались родители), благообразный шотландский граф с голым черепом, молчаливый и печальный, но мне он каждый раз дарил карамельку и подмигивал задорно.

А Владыка Киприан здесь и умер, в этом красивом просторном храме, на антресолях, куда вели долгие каменные ступеньки, мартовским утром, незадолго до Перестройки. Остановилось сердце. Среди старушек мелькнула легенда, что он споткнулся на ступенях и покатился, но было не так, конечно.

В Перестройку церквям разрешили звонить в колокола. Колокола еще не повесили. Регентша левого хора, рыжая востроносая тетя, захватила меня с собой – под небеса, на разведку. Путь почему-то был дико сложен. Полчаса мы карабкались ржавыми лесенками, чихали среди желтых груд сталинских газет, задыхались в узких и бесконечных лазах и все же достигли голой площадки, перламутрово-скользкой от птичьего помета. Я стоял на итоговой лесенке, высунув голову из люка. Женщина, отважно выскочив, закружилась на одной ноге и чуть не улетела вниз, но я спасительно схватил ее за другую ногу, и серая юбка накрыла мою голову, как шатер.

Я любил этот торжественный огромный храм, я там почти не скучал, хотя и был невольником отца. Дома я продолжал службу, только играл уже в священника. Возглашал молитвы, размахивал часами на цепочке, как кадилом, потрясал маминым платком над жестянкой с иголками, словно платом над чашей…

И вот раз вечерком, наигравшись в папу, который на работе, я заглянул в ванную, где гремел слесарь.

– В попа играешь! – сказал он устало и раздраженно, заставив меня остолбенеть. – Ладно, не мухлюй. У меня ушки на макушке. Запомни мои слова: не верь этому делу! Я тоже раньше в церковь ходил, мать моя больно божественная была. Потом передачу послушал, присмотрелся, что за люди там, старые и глупые, да те, кто с них деньги тянет, и до свидания. Спасибо, наелся! – Ребром почернелой ладони он провел возле горла.

Ни жив ни мертв я покинул ванную и молча сидел в комнате, вслушиваясь, когда же он уйдет.

В девять лет меня наконец-то нарядили в стихарь, сшитый специально монахиней Марией, белый, пронизанный золотыми нитками, с золотистыми шариками пуговиц по бокам, длинный, ботинки не видны.

Я стал выходить с большой свечой к народу во время чтения Евангелия. Помню, как стоял первый раз, и свеча, тяжелая, шаталась, воск заливал руки, точно кошка царапает, но надо было терпеть. Зато потом приятно отколупывать застывшую холодную чешую. В те же девять я впервые читал на весь храм молитву – к Причащению. Захлебывался, тонул, выныривал, мой голос звенел у меня в ушах – плаксиво и противно, и вертелась между славянских строк одна мысль: а если собьюсь и замолчу, а если брошу, если захлопну сейчас молитвослов, выбегу прочь в шум машин – что тогда?..

Накануне краха СССР папе дали беленький храм по соседству, мне было одиннадцать. Внутри находились швейные цеха, стояли станки в два этажа, работники не хотели уходить и скандалили с теснившей их общиной – правильно почуяв, что больше реальности не нужны. Помню первый молебен в храме. Толпа молилась среди руин, свечи крепили между кирпичами. Маленькая часть храма была отгорожена фанерой, и оттуда вопреки звонам кадила звонил телефон, вопреки хору доносился злой женский голос: «Алло! Громче, Оль! А то галдят!» – и вопреки ладану сочился табачный дым, но дни конторы с длинным трудным названием были кончены.

Церковь восстанавливалась быстро. За советским слоем, как будто вслед заклинанию, открылся досоветский. На своде вылезла фреска: чудо на Тивериадском озере, реализм конца девятнадцатого века: много сини, мускулистые тела, подводная стайка рыб, кораблик. Во дворе, где меняли трубы, обнаружилось кладбище, и картонная коробка, полная темных костей, долго хранилась от непогоды под грузовиком за храмом, после с панихидой их зарыли, я разжигал уголь для кадила и обжег палец так, что ноготь почернел и слез. В самом храме завелся неуловимый сверчок – хулиган, любивший отвечать возгласам священника на опережение, быстрее, чем хор. Дорога на колокольню оказалась несложной – прямой. Колокола поднимали целый день. На следующее утро затемно я ударил железом о железо и неистовствовал, грохоча, а гражданин из дома поблизости, в ужасе проснувшийся в новом мире, ворвался в храм, умоляя дать ему поспать.

Сын настоятеля, я начинал алтарничать, уже догадываясь, что все, кто рядом – мальчишки и мужчины, – обречены по законам этой проточной жизни, по правилам любого человеческого сообщества рано или поздно исчезнуть. Мальчики вырастут и пошлют своих набожных матерей, кто-то оскорбится на что-нибудь и сорвет стихарь, кто-то пострижется в монахи или станет священником и уедет на другой приход. Кто-то умрет, как один светлый человек, синеглазый, чернобородый, тонкоголосый, очень любивший Божью Матерь. Он годами оборонялся от наркотиков, но завернула в гости подружка из прошлого, сорвался и вскоре погиб…

К двенадцати мне стало скучно в храме, но я был послушным сыном. Я все мечтал о приключении: пожар или нападут на храм сатанисты-головорезы – выступлю героем и всех избавлю, и восхищенно зарозовеет девочка Тоня из многодетной семьи. Миниатюрная, нежная, шелковая, она стоит со своей очкастой мамой и восьмью родными и приемными братиками и сестрами на переднем крае народа: я подсматриваю за ней сквозь щели алтарной двери и кручу комок воска между пальцев.

Как-то осенью в 92-м году, когда я приехал с папой на вечернюю службу как всегда заранее, мне выпало приключение.

Людей было мало, десяток, папа скрылся в алтаре, я замешкался и вдруг повернулся на стремительный шум. Из дальнего придела пробежал человек, прижимая к груди квадратный

предмет. Икона! Он рванул железную дверь. «Господи!» – выдохнула прислужница от подсвечника, блаженная тетеря. В два прыжка я достиг дверей и выскочил за ним.

Я не чувствовал холода в своей безрукавке, нацеленный вперед на синюю куртку. Он перебежал Большую Ордынку. Дети бегают легко, я почти догнал его. Он глянул через плечо и тотчас пошел широким шагом. Я на мгновение тоже притормозил, но затем побежал еще скорее, хотя увидел себя со стороны: маленького и беззащитного.

Он стоял возле каменных белых ворот Марфо-Мариинской обители. Руки на груди. Я остановился в пяти шагах со сжатыми кулаками и выпрыгивающим сердцем.

Он тихо позвал:

– Ну, щенок! Иди сюда!

– Отдайте икону! – закричал я на «вы».

Он быстро закрутил головой, окидывая улицу. Подмога за мной не спешила. Вечерне-осенние прохожие были никчемны. У него торчала борода, похожая на топор. Может быть, отпущенная специально, чтобы не вызывать подозрений в храмах.

– Какую икону? – сказал он еще тише.

– Нашу! – Я сделал шаг и добавил с сомнением: – Она у вас под курткой.

– Спокойной ночи, малыши! – сказал он раздельно.

Резко дернулся, с неожиданной прытью понесся дальше, опять перебежал улицу и растворился.

Я перебежал за ним – и пошел обратно. Звонил колокол. При входе в храм было много людей, они текли, приветствовали меня умиленно, не ведая о происшествии, я кивал им и почему-то не сразу решился войти внутрь, как будто во мне сейчас опознают вора.

Там же в храме однажды я видел, что еще бывает с иконой. Святитель Николай покрылся влагой, и отец служил молебен. Я стоял боком к иконе, держал перед отцом книгу, тот, дочитав разворот, перелистывал страницу. А я косился на загадочный, желто-коричневый, густой, как слиток меда, образ, по которому тянулись новорожденные сверкающие полосы. После вслед за остальными целовал, вдыхая глубоко сладкий мягкий запах. Целуя, подумал: «Почему, почему же я равнодушен?»

На том молебне нас фотографировали у иконы, но больше, понятно, саму икону, и, говорят, одна фотография тоже замироточила.

Меня возили в самые разнообразные святые места, монастыри, показывали нетленные мощи и плачущие лики, я знал знаменитых старцев, проповедников, с головой окунался в обжигающие студеные источники, но оставался безучастен.

Был везде, разве что не был на Пасху в иерусалимском храме Гроба Господня, где, как считается, небесный огонь ниспадает и божественные молнии мешаются с бликами фотоаппаратов…

Были ли озарения, касания благодати?

Было иное. Летним душным днем прислуживал всю литургию, и уже на молебне, при последних его звуках зарябило в глазах. В полной темноте вместе со всеми подошел к аналою с иконой праздника, приложился лбом со стуком и, интуитивно узнав в толпе добрую женщину-звонаря, прошелестел: «Я умираю…» – и упал на нее.

Или – спозаранку на морозце колол лед возле паперти, красное солнце обжигало недоспавшие глаза, в тепле алтаря встал на колени, распластался, нагнул голову и среди терпкого дыма ладана не заметил, как заснул.

Было еще и вот что: прощальный крестный ход. Семнадцатилетний, на Пасху, я шел впереди процессии с деревянной палкой, увенчанной фонарем о четырех цветных стеклах, внутри которого бился на фитиле огонек. Накануне школьного выпускного. Давно уже я отлынивал от церкви, но в эту ночь оделся в ярко-желтый конфетный стихарь и пошел – ради праздника и чтобы доставить папе радость.

Я держал фонарь ровно и твердо, как профи, и негромко подпевал молитвенной песне, знакомой с детства. Следом двигались священники в увесистых красных облачениях и с красными свечами. Летели фотовспышки. Теплый ветерок приносил девичье пение хористок и гудение множества людей, которые (я видел это и не видя) брели косолапо, потому что то и дело зажигали друг у друга свечи, каждый за время хода обязательно потеряет огонек и обязательно снова вернет, так по нескольку раз. А мой огонь был защищен стеклами. Я медленно, уверенно шел, подпевая, мысли были далеко…

Впереди была юность, так не похожая на детство. Я скосил глаз на яркое пятно. Щиток рекламы за оградой: «Ночь твоя! Добавь огня!» «Похристосуюсь пару раз, потом выйду и покурю», – подумал с глухим самодовольством подростка и подтянул чуть громче: «Ангелы поют на небеси…» – и неожиданно где-то внутри кольнуло.

И навсегда запомнилась эта весенняя ночь за пять минут до Пасхи, я орал «Воистину воскресе!» и пел громко, и пылали щеки, и христосовался с каждым.

И никуда не вышел за всю службу, как будто притянуло к оголенному проводу.

Но потом все равно была юность, не похожая на детство.

# Школы

Я учился в трех школах – блатной, церковной и простой. Первая моя школа была английская спец у Парка культуры. Хорошо прошел собеседование.

Через много лет после детства я пришел в гости к однокласснице Лоле, теперь балерине Большого театра, и она поставила видеокассету. Там записан первый день нашего первого класса. Оператор советского телевидения отснял для Лолиного крутого отца.

Интересно, что именно в Лолу был я влюблен без ума в том первом классе. Мгновенно в нее втюрился, едва она села рядом в столовой, маленькая, смуглая, с круглым глазом. «Как таких маленьких сюда пускают!» – подумал я восхищенно.

Цветная съемка. Первое сентября 87-го. Школьный двор. Советские родители сами как дети. Это такие вытянутые, разросшиеся во все стороны дети: лица наивны и светлы. Отпрыски их выглядят адекватнее, нежность лиц соответствует миниатюрности тел. В микрофон выступает директриса, бывалый взгляд, рыжие завитушки. Голос полнится одновременно властью и истерикой: «Вместе с нашей Родиной и партией школа начала перестройку! Недавно мы стали помогать детям Никарагуа!» Какой-то лысый мужчина в громоздких очках стеснительно курит в кулак.

Обнаруживаю себя – Лола жмет на паузу.

Родители не попали, а я вот – в кадре. Инопланетянин. Настороженное чуткое личико. До подбородка – багровые пышные цветы. Кажется, цветы – это продолжение меня, в них выведены проводки. Через цветы я постигаю окруживших на школьном дворе землян.

Лола снова жмет *Play*, нас уводят от родителей…

Отлично помню, как попал к высокой комсомолке, которая, сжимая мне руку, все время на бегу повторяла:

– Не бойся меня, не бойся меня.

– А я и не боюсь.

Мы спешили, навстречу неслась песня «Веселый ветер», теплый ветер мазнул по волосам, и было сладкое предвосхищение, как будто за порогом школы ждет невероятное чудо. Вернее, множество чудес, одно невероятнее другого. Это было предательское упоение, казалось, родители навеки остались позади и отныне всё будет по-новому.

В школе мы поднялись на два пролета, достигли просторного класса, я положил букет поверх кучи чужих цветов. Комсомолка усадила меня за последнюю парту с краю, дала пеструю тонкую книжку с надписью «Бим-бом» и пожелала скороговоркой: «Учись на радость маме, на страх врагам!» И пропала. Я открыл книжку, в ней были дед, баба и курочка Ряба. Рядом со мной посадили мальчика. Нахохленный, пухлый, розовощекий, он глухо назвался: «Глухов Артем».

Появилась Александра Гавриловна. Учительница первая моя. С первого взгляда было понятно: она сочетает доброту и строгость. Вся она состояла из торжественных клубков шерсти: большой клубок – туловище, меньше – голова, самый малый – седой клубок на голове. Позже я замечу ее ладони: болезненно-розовые, в белоснежных линиях от постоянных упражнений с мелом и тряпкой.

– Напишите все слова, какие вы знаете!

Артем писать не умел. Я исписал листок с двух сторон. Например, «старики» написал почему-то. Очевидно, вдохновили увиденные в книжке «дед да баба».

И снова кассета восполняет стертое из памяти.

– В Ливане покоя нет, – говорит Александра Гавриловна заботливо и вздыхает.

Она показывает на группку мальчишек у доски:

– Ребята, скажите, чем они от вас отличаются?

Общее молчание.

– Красные галстуки! – звонкий голосок.

Камера наезжает на дальний угол.

– Встань, мальчик. Что ты заметил, мальчик?

Стою, тревожный.

– На них красные галстуки…

Говорю, зная, что на мне красного галстука не будет, папа не позволит. Зачем говорю? Как шпион, с первых минут советской школы внедряюсь в систему? Или за меня говорит внезапный порыв – оттолкнуться от домашних и примкнуть ко всем? Или я просто цепко вижу и не удержался отозваться первым?

– Как тебя зовут?

– Сережа.

– Как твоя фамилия?

– Шаргунов.

Учительница слегка меняется в лице, мутнеет. Она-то знает, кто чей ребенок. Я полюблю эту учительницу, и она меня начнет опекать, выяснив, что пишу и читаю быстрее и лучше остальных. «Золотая голова, – будет протяжно говорить Александра Гавриловна, расхаживая у доски. – Сережа, ты очень похож на Сережу Горшкова. Был у меня такой ученик, внук адмирала!»

Она пришла в школу еще в тридцатые. Помню: рассказывая о войне, уважительно, отчеркнув паузами, сказала имя: «Сталин», и послышалось эхо. Сейчас мне стыдно вспомнить, как из класса в класс, все наглее, я перечил проповедям Александры Гавриловны, а она делалась все беспомощнее: перестройка наступала.

В первом классе я еще пересказывал сюжет из хрестоматии про доброго Ленина и снегирей или про «общество чистых тарелок», затеянное Ильичом. Но в третьем классе тянул руку и, встав, издевался над песней «Дубинушка», которая неслась из включенного учительницей магнитофона, а Ленина обзывал дурными словами под смех класса, из прежних форм и платьев переодевшегося в вольные тряпки. (Кстати, по этому разнотряпью станет отчетливо видно, кто беден, а кто богат.)

В первом классе я еще был послушен. Округлым важным голосом Александра Гавриловна рассказывала нам о том, что мир поделен. Раскрыв увесистую подарочную книгу, показывала фото, на котором колосилось золото нашей пшеницы, и фото Америки, где среди смога под небоскребами сидели чернокожие бездомные. «Россия – день, Америка – ночь», – так, если кратко, учила учительница.

По утрам веселая делегация пионерок пела нам песни о революции. Их предводительница, счастливая и щекастая, возгласила заливисто: «А царь только спал на перине и ел пряники!» (Царские кости в то время уже хранились дома.)

Еще на урок вводили гордость школы – старшеклассника-поэта, помесь Пьеро и Дуремара. Вероятно, он шел на золотую медаль. У него был простуженный голос, вислый нос, бледное лицо. Он покачивал головой вместе с длинными локонами и гудел: «Умер Ленин, умер Ленин, умер Ленин…»

На уроках музыки почти все мальчишки омерзительно бесчинствовали, хрюкали и сползали со стульев, отчего-то чувствуя вседозволенность. Вела музыку нервная глазастая женщина с черным каре. Как тут не станешь нервной! Я почему-то жутко ее жалел, даже снилась она мне, и просыпался со слезами. На ее уроках я был всех лучше, тише и музыкальнее. Через три года она умерла. От рака горла.

Мне дедушка рассказывал,
Как он в Кремле служил,

Как ленинскую комнату
С винтовкой сторожил…

– Бе-е-е! – подает голос отъявленный хулиган Андрюша Другов, похожий на тупого бычка, и ответно ржет злой, похожий на разваренную сосиску Паша Екимов, сын мента.

Учительница бьет ладонью поверх рояля с яростью фанатички, оскорбленной кощунством.

Все замолкают, и несколько послушных голосов, в основном – девчоночьих, тянут дальше:

И вот на фотографии
Мой дед среди солдат,
Шагает вместе с Лениным
С винтовкой на парад…

Я плохо справлялся на уроках физкультуры. Не умел перемахивать через козла и подтягиваться. По росту меня ставили предпоследним, был я мал. Потом вымахаю и подтягиваться научусь. Последним становился дикаренок Тигран, махонький, жилистый, в свои семь покрытый черным волосом. Он восторженно рычал и мокро скалился на девочек, бросался к ним, распахнув короткие, но цепкие объятия… В туалете я испытал шок, увидев, как он, победно скалясь, с брызгами и журчанием мочится не в унитаз, а на пол…

Наш физрук, седой и хриплый старик, все время истошно свистевший, невзлюбил меня больше всех: на физкультуре в то время я был слабейшим. Честности ради заметим, что уже в десять я вырвался в тройку лучших, хотя с физруком, сменившим помершего прежнего, тоже не ладил. Пока же, еще живой, старик после моих неудач с прыжками через козла поднялся на перемене в класс. Завидев старика, я спрятался в страхе под парту. Он спрашивал про меня. Ругался. «Зато он так хорошо читает!» – услышал я голос феи Александры Гавриловны. Ведьмак что-то забурчал и вышел вон.

Александра Гавриловна повелевала нами спокойно и уверенно. В параллельном классе властвовала нестарая женщина, пестро накрашенная, кипящая возмущением. Нам передавали ее зверства – она орала, топала, взрывалась из-за мельчайшей провинности. Когда я пересекался с ней в коридоре, то отворачивался – люто жег ее взор, заранее негодующий. Александра Гавриловна обходилась мягким, но серьезным внушением, брала артистизмом, могла раздавить укоризной. Да, она была артисткой. Помню, изображала утку – очень-очень похоже.

Класс, бесспорно, с самого первого дня был поделен. Лола, например, сидела на первой парте, и съемка показывает, как особенно Александра Гавриловна опекает девочку, осыпает похвалами, не выдержав магии власти. Прищурившись, у дверей стоит Лолин отец, чье азиатское прозвище сегодня известно всем, единственный из родителей допущенный к нам. Камера то и дело схватывает его сильный замерший лик.

Школьники не были равны. Лола, восточная кроха, ходила рядом с голубоглазым Сережей Соколовым. Сын дипломата, ее росточка, наглый неженка, он постоянно горбился и при этом походил на принца. Был еще богач Аркаша. Нижняя губа, отвисшая, блестела, край рта кривился. Вальяжный и гадкий, этот ротоносец в девять лет самостоятельно совершал перелеты из Москвы в Нью-Йорк. В десять принес на урок биологии порножурнал. А в первом классе Аркаша обладал бездонным запасом вкладышей.

Вкладыши – высшее развлечение, смысл школы! На уроках мы слушали о подлой Америке, чтобы на переменках, облепив подоконники, бить кулаками по цветным бумажкам из американских жвачек – кто перевернет бумажку ударом, тому она достанется. На бумажках,

пахнущих сладко, иногда присыпанных душистой пудрой от недавнего чуингама, были цветные картинки и фотки.

Как-то на перемене возле туалета меня подловил Саша Малышев, которого, казалось, бледностью наградила бедность. Миловидный, самый робкий, прозрачными пальцами он перебирал картинки из северокорейского журнала: что-то лиловое цвело, и фигуристки несли алые флаги.

– Это мне мама купила журнал и нарезала. Думаешь, подойдет? – спросил, стыдясь и надеясь.

– Попробуй, – сказал я и пошел играть дальше.

Саша терся рядом с нашей азартной дракой, в сомнении мял листки, на него не обращали внимания, да и я притворялся, будто не замечаю. И вот он рванул к подоконнику, дети наклонились над протянутыми им яркими вырезками (о, миг триумфа бедняка!), но в следующее мгновение другой бедняк, двоечник Андрей Другов, с быстротой отличника закричал:

– Убери свои какашки!

Все засмеялись. Сашу тычками и смехом оттеснили, он рассовал суетливо бумаги по карманам и застыл, не решаясь ни уходить, ни приближаться. Весь день, каждую перемену он, закусив губу, тусовался на отшибе драки. Время от времени раздавалось: «Ты опять со своими! Не мешай играть нормально!» – «Да не… Я тоже нормально буду…» – бормотал он и бледнел совершенно.

Двоечник Андрей, впрочем, тоже оказался высмеян. «Моя мама ходить на завод. У моей мамы есть подушка», – зачитала его сочинение гогочущему классу Александра Гавриловна. Его, гениального двоечника, курчавого, лупоглазого, с круглыми ноздрями, отчислят еще во втором классе – переведут, по слухам, в школу для дефективных.

В том первом классе я нарисовал множество картинок и склеил их в длинную ленту, создав целый мультфильм. Про инопланетянина, прилетевшего в лес, потом угодившего в город. На перемене меня окружили, вертели ленту, одни пытались высмеять и готовы были рисуночки разорвать, другие озадаченно поддержали, Аркаша же, чавкая губами (в нем пробуждался коммерсант), предложил выкупить всю ленту за пять вкладышей с фотографиями американских футболистов. Но я отказался от фотографий футболистов. Я подарил эту ленту Лоле. Она смяла ее бесцеремонно и сунула в портфель, и я понял: произведению моему не жить и дня.

– У меня вши были, – поделился бедой Артем Глухов. – Ничего, керосином за два дня вывели. Бабушка говорит: это нас американцы заражают. Приезжают в школу и вшей выпускают…

В том же 87-м в школе я увидел американку. Ее засекли на перемене. То, что она американка и что в большом пакете у нее подарки, которые она должна вручить на уроке, стало всем понятно как-то само собой. Но разве можно ждать пять минут? Разве можно быть уверенным, что тебе достанется стоящий подарок? Клянчащая теснящая хватающая толпа завертелась вокруг женщины.

Уже тогда в изумлении я смотрел на это действо, где слились дети разных достатков, свирепствовали и девочки. «О! Ноу! Ноу!» – неслось из кучи-малы. Пакет порвался, вопль радости! Оставив миссионершу, у ее ног, царапаясь и визжа, они дрались за медвежат, голубых и коричневых. Маленькие медвежата, размером с бобы. Ценились голубые, их цвет повеселее.

Я не вступил в октябрята. Единственный в школе за всю ее историю. Такова была воля папы-священника, но и моя воля сюда была примешана.

– А почему ты не был на приеме? – одолевали меня одноклассники.

– Болел.

– А где твой значок?

– Потерял.

К учительнице подплыла стайка девочек:

– Александра Гавриловна, примите Сережу!

Она им что-то внушительно и уклончиво ответствовала.

Впрочем, в душе я жалел, что не был на торжественном приеме, не ездил в Горки Ленинские, не ходил на Красную площадь на парад. Красный флажок, подаренный мне, шестилетнему, во дворе другом Ванькой и спрятанный дома среди игрушек, был изобличен моей крестной и со скандалом выкинут в мусоропровод.

Все же я тянулся к запретному, советскому. Но антисоветское – подпольные книжки, журналы, радиоголоса – тоже влекло. Двойственность жила во мне.

Я один-одинешенек без пионерского галстука на общем большом снимке нашего 3-го «Б» класса. Снимок прожил у меня недолго. Разглядывая, я положил его на диван, куда внезапно спружинила с пола серо-полосатая кошка Пумка и передней лапой вышибла кусок. Этот кусок я отложил, собирался вклеить, но все тянул, и он затерялся. А фотография с дырой до сих пор валяется где-то. Какой от нее толк, зверь убил и меня, и еще человек восемь, Лолу в том числе.

Осенью 91-го в осиротевшем кабинете музыки нам предстояло прибраться и подготовить «огонек». Девочки подметали и вытирали пыль, в открытое окно струился ветер.

На пианино среди нот кто-то обнаружил портреты Ильича, плакаты с пионерами и одну резкую черно-белую фотографию: Ленин, вырезанный светом из мрака, исподлобья смотрит проницательно прямо в сердце. Галстук у Ленина – черный, в белые горошины.

С облегчением и яростью мальчишки накинулись на эти бумаги! Их рвали, комкали, протыкали, тянули в стороны, осыпали друг дружку обрывками…

Я смотрел, безучастно ухмыляясь. Правда, девочки еще возражали, но ахали кокетливо, кажется, довольные буйством.

– А ноты-то нельзя, – промямлил Саша Малышев.

– А чё здесь понаписано, мудила? – заорал Паша Екимов, надрывая сразу всю стопку. И принялся листать надорванное, бормоча: – Елочка, Чебурашка, Веселый ветер… Гляди-ка, опять про Ленина, суку! – И, кривляясь, под общий смех изобразил: – И вот на фотографии / мой дед среди солдат, / шагает вместе с Лениным, / и наступил в говно… – Он с силой дернул за края и разорвал стопку пополам.

Фотографии Ленина пришлось всего хуже: ее исчеркали, приделали рога, клыки, выкололи глаза, на крутом лбу написали слово из трех букв и, наконец, жвачкой присобачили к стене. И стали плевать с расстояния в несколько шагов, соревнуясь, кто плюнет метче.

Мне стало не по себе. Жалость к умершей учительнице музыки, и эта осень, ясно, что последняя для советской страны, и разочарование от победы, которая не греет, – все смешалось в терпкую горечь, нахлынуло и запершило.

– Эй, вы! Погодите! Вы… Вы же! Вы были октябрятами, да? Пионерами, *yes*? Вы врали, а?! Отстаньте от него!

Они не слушали. Бранясь и восклицая, плевали все злей, веселей и гуще…

– Эй, ну хватит!

– Серый, ты чё, рехнулся? – отозвался бывший звеньевой белобрысый красавчик Антон Кожемяко, с храпом втянув соплю.

Что-то сломалось во мне. Я подлетел к стене, сорвал образ Ленина, гадкий, отекающий пеной, бросился в сторону и вскочил на подоконник.

– Прыгнешь? – спросил Саша Малышев, зачарованно подняв голову.

Меня схватили за ноги. Но все же я успел отпустить фотографию.

Медленно качаясь, страшный, осквернённый Ленин плыл от этой школы, и вместе с ним ветер уносил мертвую листву.

Наш класс постепенно расходился. На смену одним приходили новые. Лола в третьем ушла в балетное училище. Сашу Малышева чудовищно искусала собака, и он начал учиться

экстерном. Паша Екимов ушел в спортивную школу, сейчас он мент, в отца. И только румяный Глухов Артем, с которым посадили меня первого сентября за книжками «Бим-бом», доучится до выпускного, если верить его страничке на сайте «Одноклассники». Судя по фотографии, он не сильно изменился за эти годы – такой же пухлый, розовый, нахохленный, как и в тот день, когда он еще не умел писать.

Вспоминаю девиц, симпатичных и не совсем. Была Женя Меркулова, высокая и скучная, навеки опороченная в моих глазах первым впечатлением. Первого сентября 87-го дылда встала и скорбно спросила: «Можно выйти в туалет? А нет у вас бумаги?» – притом губу ее украшала лихорадка. Была еще неопрятная, боевая, но и как бы пребывающая во сне Вера Сергеева, дочь школьной уборщицы. Есть такой тип энергичных лунатиков, в глазах муть, а во рту каша. С этой Верой я какое-то время ходил, притворяясь влюбленным, но сам любил Лолу. И на других девочек не смотрел. Любил я только Лолу одну.

Расставание с блатной школой случилось после краха СССР. Я перешел в недавно открытую гимназию – родители решили: так будет лучше. Она располагалась в одном из дворов Остоженки, в подвале старинного дома. Низкие потолки, кривые полы с приколоченным линолеумом.

Я шел в гимназию дворами, между зданий сохранившейся старинной Москвы по Москве ранних девяностых.

Гимназия оказалась благостна, но безумна. Я немедленно завраждовал там со всеми – они были дети с одного прихода, а я пришлый, чужак. Плюс я посмеивался, когда звонкими голосами они отвечали у доски про Иисуса и смоковницу, как будто про Ильича и снегирей. Хотя и я отвечал в своей школьной жизни и про Ильича, и про Иисуса. Каждое утро начиналось короткой молитвой. Ее читал тот школьник, на которого показывал палец священника-директора. Кончался день получасовым молебном.

Перед молебном нас и сняли. Цветная фотография, где все чем-то похожи между собой, как большая семья, очевидно, из-за старательно благоговейных лиц. А в центре – глава семьи, довольный и уверенный священник с каштановой курчавой бородой.

Фотография висела в коридоре рядом с расписанием уроков все два года, что я учился.

Этот священник был добродушен и жизнерадостен, мягок телом, голосом и взглядом. Он преподавал Закон Божий.

– Как страшно обидеть брата своего! Мы должны помнить, что Христос является нам в виде любого человека. В каждом Христос. И оскорбив другого, мы оскорбляем Христа.

На этом занятии все звонко и подобострастно отвечали. Но настала перемена, мы высыпали во двор, я отошел от гимназии, и мне отрезали путь. И начался расстрел. Безо всякого повода. Сговорились – и открыли пальбу. Они лупили меня снежками сразу все семеро. В лицо, в голову! Они орали: «Козел! Придурок! Сатана!» – но боялись матерщины: дополнительная болезненная их дурь. «Я ему ледышкой в морду засветил!» – ликовал Узлов, пучеглазый и коротко стриженный. «Не выпускайте его!» – азартно выдыхал маленький чернявый Жора.

– Стойте! Вы все врали! Вы все врали! На Законе Божьем! – закричал я, с ног до головы белый.

Они заржали и усилили стрельбу.

– Я же брат ваш! Вы Христа бьете! – Снежок, крепкий, как редька, вмазал мне по губам. Вероятно, им радость доставило стрелять в свое унылое вынужденное настоящее.

– Мудаки херовы! – Я побежал на них с разбитыми губами, сжатыми кулаками, искаженным лицом отморозка.

Они кинулись врассыпную, счастливо хохоча.

В гимназии было несколько миловидных девочек, хотя и странных, с рыбьими холодными глазами и толстыми косами, и в косах этих, в извивах и переплетениях, читалось будущее: многочадие.

Там был отличный преподаватель английского языка, с щеткой седых усов, с лысиной, твердый и деликатный джентльмен. И была невменяемая учительница литературы и русского, желтая старуха-истеричка, одолеваемая безумными идеями, которые она с удовольствием излагала. Она говорила о лечении мочой и о том, что Богородица покровительствует Алле Пугачевой. Впрочем, четко знала свои предметы и была по-своему великолепна. Еще я помню какую-то пришлую крупную тетку с лицом в малиновых пятнах – в коридоре после уроков стала допытываться: соблюдаю ли все посты, и, когда я ей бросил что-то легкомысленное, она затопала ногами, потребовала мой дневник и написала в нем размашисто красными чернилами: «Не научен разговаривать со взрослыми!!!» Она была похожа на одинокую маньячку-домохозяйку из фильма «Мизери»! Помню в том же коридоре конопатого мальчика, который, закатив глаза и возгласив «Анахема!» (он был уверен, что «анафема» звучит именно так), раз за разом шутовски падал на линолеум.

Еще вспышка: Великий пост, мутное красное солнце, щипучий мороз, процессия гимназистов. Месим снег полкилометра. Каждое утро мы так делаем. Наконец, проступают кирпичи Зачатьевского монастыря, за стенами – обычная школа, где нас кормят. У нас своя пища: квашеная капуста и гречневая каша. Нас кормят отдельно от местных школьников после недавнего случая, когда те показывали факи из-за соседнего стола, швыряли кусками сосисок, и мы подрались с ними – стол на стол.

Позавтракав, идем к монастырскому храму – Патриарх приехал, не протолкнуться, стоим на деревянной лестнице с бомжами, нищенками и их детьми. «Из Чечни бежали, угорели мы», – громко рапортует мужчина в диком тулупе. «Серый, ты прости меня… что льдом кидался…» – шепчет Узлов и трет коротко стриженную замерзшую башку. Литургия кончена, по ступенькам сходит, милостиво тонко улыбаясь, Патриарх Алексий, осеняет нас, целует Узлова в мороженый затылок, следом – сияющий архиепископ Арсений, облачения, охрана, выкатывается темным шаром Дим Димыч Васильев, глава общества «Память». О, Москва 93-го года…

Из нашей гимназии, кстати, половина стала духовными лицами. Бороды и бородки и одеяния вижу я на сайте «Одноклассники». Две девочки попадьями стали.

Гимназия, увы, надоела мне за пару лет. И я перешел в простую школу у метро «Фрунзенская». В ней проучился большее время. Ее и считаю родной.

Вскоре после моего ухода в гимназии случился пожар: короткое замыкание. Ночью, когда никого не было. В кабинеты огонь не успел: пожарные приехали по сигнализации. Но коридор обгорел. Пламя прогулялось по стенам и, понятное дело, слизнуло благочестивую фотографию.

Новая школа приняла меня в грубые объятия. Многие были детьми рабочих с завода «Каучук». Инстинктивно я сблизился с отъявленным бурным хулиганьем. Помню тебя, Гуличев, круглый паря, ранние усики. Чубатый боксер Бакин… Я подключил свои свирепые гены. Слился с простотой, хотя и не во всем, не во всем…

Хулиганье избивало тех, кто слабее. Я пытался соблюсти благородство, не участвовал в терроре. Однажды, идя в школу, поравнялся с мальчиком из класса младше, чьего имени я даже не знал, известна была только его кличка Даун. Длинный, согбенный, худосочный, в очках, человек-насекомое, он плелся к школе, чтобы снова слышать свою кличку и получать тумаки.

– Как они тебя обижают! – от всей затосковавшей души воскликнул я.

– А мне что, я привык… – вдруг зачастил он умным голосом. – У меня все нормально будет. Три года пройдет, и в МГУ поступлю на биолога…

Я и Пименова по кличке Пельмень не травил. (Ему садист Рыков, его покровитель-мучитель, сломал на лестнице ногу, Пельмень вылечился, кость срослась, и вернулся обратно. Рыков распоряжался Пельменем как своей вещью. Школа, ты зона!) Однако драться было надо, постоянно доказывая себя.

Как-то несчастный бескровный паренек по фамилии Иванов почему-то сел на мое место и сбросил мои учебники. Это был вызов. Крепкий пацанчик с синими отчаянными буравчиками глаз был мною разгромлен. Я колошматил его по физиономии до упора, до слез и соплей кровавых, до безоговорочной капитуляции. Иначе нельзя. Зато встречались чудесные святые типы. Корзинин – прекрасный тихий и скромный малый. Эх, Корзинин, – грибная да ягодная душа. Федоров – роскошный багровый добряк, пил, правда, в свои пятнадцать так, что мать родную не узнавал (буквально).

Доверие злой простоты, хулиганов, я купил последовательной дерзостью. Во-первых, я бухал на уроке. Доставал из рюкзака банку пива и отхлебывал, когда математик отворачивался. Давал отхлебнуть товарищу. После уроков мы пили с ребятами вместе, почти каждый день. Курили в туалете. «А-а-а-автобу-у-ус… А-а-ап-тека-а-а…» – учил меня затягиваться старшеклассник по кличке Фофан. Его так прозвали за любовь давать фофаны, могучие щелбаны. Все прошли инициацию. Но я от назойливых пальцев этого Балды уклонялся. Разок он пятнадцать минут до начала урока истории скакал за мной между парт по классу и упрашивал: «Ну дай, дай! Дай врежу!» – и дышал тяжело. В стороне жалась дежурная – крупная Абузярова – с ведром и метлой. «Разберитесь уже, – недовольно говорила она. – Серег, ну уступи ты ему». Я не дался, за что был бит старшеклассниками по окончании уроков во дворе. Шапку отняли, уроды, и закинули за забор. Я ее не нашел. Что о том вспоминать…

Так вот, я покупал доверие хулиганов выходками. На спор закурил на уроке литературы. За первой партой. Сигарету, зажженную, бросил в пластмассовое ведро. Вспыхнул скандал. Учительница побежала за директором. (Пока она бегала, сигарету вытащила из ведра и унесла в туалет влюбленная в меня Зиночка, златоволосая и засушенная отличница.) Меня не выгнали, хотя могли. Все же я был лучшим по истории, литературе, русскому. Директор, тяжелый развалистый бородач, похожий на драматурга Островского, был ко мне благожелателен.

Раз в школе затеяли вечеринку.

Дискотека в подполе возле физкультурного зала. Крупная низкая Мила Саркисян по кличке Жу-жу пританцовывает. Саркисян всегда рядом, как мамка-сутенерша, с распутной красоткой Олесей, которой хулиганы, подобравшись сзади, тыкают пальцами под мини-юбку. Олеся визжит, отпрыгивает грациозно, она стройна, обладает манкой южной красотой. Мрак и вспышки, запиваю водку вином. Пляшем с Яной Савельевой, востроносой, симпотной. На ней футболка с американским флагом, пока везде торжествует стиль колонии. В динамиках поет Таня Буланова: «Ясный мой свет, ты напиши мне…» Поют «Иванушки»: «Да и на небе тучи, тучи, как люди…» Бодрый песенный озноб девяностых. С парочкой пьяных хулиганов, на них опираясь, выхожу из мглы танцпола, берем свои куртки в кабинете химии, идем на снежную улицу. Падаем об лед. В палатке покупаем бутыль водки 0,7. «Теперь ты стал настоящим пацаном!» – прижимается Гуличев. «Погоди! Не спеши! Бухло не урони!» – догоняет Бакин. Дальнейшее – вспышки. Класс, разоренная снедь на сдвинутых партах. «Не пей, хорэ, братан», – говорит Леша Кобышев, серьезный и надежный парень, один из лучших в классе. Он пожирает бутерброд и смотрит тревожно. Запрокинув голову, лью бутылку в себя – буль-буль-буль – и не чувствую вкус водки. Забытье. Вспышка. Тьма. Поет Таня Буланова. «Ясный мой свет…» Опять? Чьи-то губы. Поцелуй. Глажу длинные волосы. Олеся? Яна? Зиночка? Таня Буланова? Вспышка. Раковина. Холодная вода заливает лицо. Вспышка. Холодно. Очень холодно. Стою под метелью в одном свитере, это ясно, ведь холодно же ужасно, и качаюсь. «Сережа! Сережа! Как меня зовут?!» – разглядываю сквозь помрачение. «Ты Лена, – едва выговариваю, – Лена Гапоненко». Вспышка. Меня несут домой. На руках. Мимо красной буквы М. Мимо метро. Комсомольский проспект перебегаем. Перебегают. «Не урони!» – орет один. «Ты чё, машин боишься?» – глупо спрашивает его другой. Провал.

После восьмого класса львиная доля хулиганья совершила исход из школы.

Как сейчас помню: весна, захожу в школу, навстречу семенит учитель алгебры и геометрии Михаил Николаевич – махонький интеллигент, прокуренный насквозь.

– Есть разговор, – останавливает, держит за руку. – Смотрите, столько ваших дружков ушло, – нежно протягивает он слова.

– А?

Его голос обретает прокурорскую резкость.

– Вы уверены, что дальше хотите учиться?

– Хочу.

– Может, вам будет дальше сложно, не стоит себя мучить. Есть колледжи, техникумы.

Такой разговор. Неполное среднее, уйти в техникум, стать слесарем. Может, и к лучшему было бы, а?

На выпускном я почти не пил, памятуя о зимнем алкоголическом злоключении. Мы катались на кораблике, торжественные и скованные. Да, все мы уже немного смущались друг друга, как будто встретились через годы.

Пьем шампанское на палубе, мимо в огнях тянется Кремль. «Пусть наши дети останутся следами на простынях!» – поднимает пластиковый стаканчик Костян Сенкевич, разнузданный патлатый неформал. Меня коробит его тост. И запоминается. Качает овсяной мирной головой Паша Сапунов. Костяну предстоит погибнуть через семь лет на Новый год – собьет машина на Комсомольском проспекте. Паша Сапунов сгинет в армии. Вспоминаю, как на том теплоходе в ответ на мое «Спасибо», протянув сигарету, Паша заблеял присказкой: «Спасибо некрасиво, на хлеб не намажешь…» Погиб он на учениях под Нижним Новгородом.

Помню: вернулись в школу, синий рассвет, сидит на подоконнике учитель «информатики и вычислительной техники» Леонид Егорович, жилистый мужик, и поет, улыбаясь изо всей силы, так, что десны видны: «Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом…» На следующий год его уволят: в порыве гнева надорвет ухо хамящему ученику, и заведут уголовное дело.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.